



Основа культуры животных и человека

Лекция 27 мая 1918 г.

М[илостивые] Г[осударыни] и М[илостивые] Г[осудари]. Я начну с исповедания веры современных биологов, оно коротко состоит из двух параграфов.

Первый: верую, что человеческий ум после долгих исканий и блужданий напал наконец на вернейший путь к познанию окружающего мира и той части *человека*, которая называется *его* телом, и *на основании этого, значит*, к овладению ими — именно, в виде естествознания, в виде положительных наук с их принципами, постулатами, предпосылками и методическими приемами. Это такой параграф, в который, *конечно*, верят все естествоиспытатели и, надо думать, весь образованный мир, т[ак] к[ак] результаты работы естественнонаучного ума и его постоянного подсобника — технического ума — видны для всех каждый день. Все фантазии народных сказок и вся игра воображения современных мечтателей — все это оправдалось, стало действительностью и даже в некоторых направлениях превзойдено. Возьмите Жюль Верна. Что осталось неосуществленным из его романов? Осталось путешествие на Луну, но и на этом уже *теоретически* упражняются и притом вполне серьезные люди. Таким образом, надо признать, что работа естественнонаучного ума поистине безгранична. Завоеваны морские глубины, завоеван воздух. И странно, что в это время человек еще говорит и заботится о тесноте Земли. Вы видите, до какой степени человек приобретает все новые пространства, собирается даже выйти за пределы нашей планеты. Значит, рано еще говорить о тесноте.

Второй параграф. Мы верим, что проникнем и в ту часть человеческого существа, которая называется внутренним миром, в тайну и механизм... [его]. Мы научимся предрекать как

мелкие, так и крупные события вроде войны, со всеми их ужасами.

Но понятно, что эта вера пока лишь для биологов, а для других она, может быть, кажется безумной. Эта вера основывается на принципе непрерывности жизни от ничтожной бактерии до человека, и биолог рассчитывает, что, изучая экземпляры жизни снизу доверху, он дойдет наконец до самой высшей ступени этого длинного мира.

Остановимся на проявлении деятельности высшего животного, которая уже поступает в ведение лаборатории. Причем биолог осмеливается, заявляет претензию охватить жизнь всю целиком, без исключения, ничего не оставляя на долю других доктрин. И по тому, что получено и получается сейчас, ясно, что претензия эта не фантастична, не напрасна. Нет сомнения, что кончится это тем же торжеством естественнонаучного ума, которое он завоевал и в деле изучения мертвой природы. Мы верим, что если характеристику прошлого столетия составлял [успех научного знания?] по отношению к мертвому миру, то слава XX века — [в таком же успехе?] по отношению к живому миру, до высшей его ступени, до человека включительно.

Остановимся на низших животных, и на них я постараюсь показать вам, как велики уже достигнутые успехи.

Что такое жизнь? Если стоять на фактической стороне дела, то придется выразиться до некоторой степени забавно. Жизнь есть охранение жизни. На это уходит вся деятельность животного. Животное удаляется от того, что ему может принести вред, и стремится к тому, что обеспечивает ему благосостояние. И мы знаем, что такая деятельность животного основана на механизме нервной системы. Мы знаем, что жизнь у существ, не имеющих никакого собственного опыта, охраняется инстинктами и рефlekсами. Животное с места знает, что ему надо, оно стремится к пище, бежит от огня и т. д. Это основной фонд жизненной деятельности. Надо признать, как мы ни гордимся своим венценосным положением в природе, что и наша жизнь переполнена рефlekсами и инстинктами, и надо признать, что значение этого гораздо больше, чем мы предполагаем. Если мы не пользуемся этим, то только потому, что биология находится не на высоте. У нас нет систематики того, чем вооружено животное, когда оно появляется на свет, то есть мы не знаем в точности ни влияния окружающего мира, ни ответной реакции. Биологам предстоит еще иметь полнейший каталог инстинктов, рефlekсов со всеми подробностями. Мы знаем пока лишь общую фразу, что животное обладает инстинктами пищевыми, половыми и само-

сохранения. Это знание поверхностно, им нельзя еще пользоваться в жизни. При таком знании ничего не разглядишь. Это буквально только общие заголовки.

Но это лишь одна часть жизни. Сейчас же на этот фон насаждает, к нему прикрепляется другой, более обширный фон. Ведь окружающая животное природа, к которой оно должно быть приспособлено, с которой оно должно прийти в равновесие, ведь эта природа постоянно колеблется и меняется. Возьмем грубые вещи. Пища — это необходимость. Но ведь пища может и исчезнуть. И тогда надо отыскивать другую пищу, в другом месте и т. д. На каждом шагу могут встретиться новые опасности, новые враги, и ко всему этому надо приспособиться, выработать целесообразную ответную реакцию. Таким образом, наряду с врожденными реакциями, каковы инстинкты, животное должно обладать способностью вырабатывать такие же реакции на разнообразные новые влияния. Это то, что обычно носит название ассоциации, и то, что современному биологу представляется особым рефлексом, только по сложности отличающимся от обыкновенных рефлексов. Эти рефлексy осуществляют связь деятельности животного с вновь возникающими влияниями и условиями. Так как этих условий бесконечное множество, они постоянно дробятся, то понятно, что на пути жизни всегда могут встретиться новые, доселе незнакомые влияния, к которым животное должно быть приспособлено, на которые должен быть подходящий, целесообразный ответ, чтобы животное не испытало вреда.

Этот комплекс врожденных и приобретенных в жизни реакций, конечно, целиком действует и в нас. В этом отношении мы знаем еще очень мало, должна произойти чрезвычайно большая работа, чтобы систематизировать и эту область. Но уже по тому, что мы знаем, ясно, что наша жизнь тоже переполнена инстинктами... т. е. теми же рефлексами. И если вы даже случайно, но сколько-нибудь настойчиво и внимательно наблюдаете жизнь животного, то нельзя не быть пораженным сходством этой жизни с нашей жизнью, как мы ни гордимся своим превосходством. Конечно, наша умственная сторона чрезвычайно поднялась над уровнем животных. Что же касается других наших сторон, наших желаний, чувств, то это остается очень близким к животному миру. Мне приходилось продолжительно наблюдать жизнь животных в аквариумах и птичьих садках, и я прямо скажу, что я был поражен сходством их поведения с нашим даже в деталях, и притом на всем протяжении это сходство так велико, что было даже обидно за себя. Я никогда не забуду, как я наблюдал в аквариуме пару маленьких рыбешек, колюшек.

Они сперва проделали любовный сеанс, потом это кончилось родительским делом. И я наблюдал, как родитель охранял место с оплодотворенной икрой. Маленькая рыбка, вершок длины! Но она до такой степени самоотверженно охраняла свое будущее потомство, исполняя родительские обязанности, что это разделило весь аквариум на две половины, причем в ту половину, где находилась икра, никто не смел входить, хотя бы это была и рыба во много сильнее колюшки. Рак, который весит в пять раз больше колюшки, и тот не смел заходить в эту половину, потому что колюшка отважнейшим образом вступала с раком в бой. Или, например, эта колюшка выгоняла огромного карася. Вот вам самое истинное геройство и самоотвержение, нисколько не хуже, чем у нас. Точно так же, наблюдая за птичьим садком, я был поражен тем разнообразием характеров и типов, которое представляли его обитатели. В разных сортах маленьких птичек предо мной прошли буквально все типы «Мертвых душ» Гоголя.

Но это одна половина жизни, это есть проявление жизнедеятельности, главным образом механической, это результат того, что мы называем раздражением. Это — свобода животного в самом широком смысле слова, но это, я говорю, только половина жизни. Если бы осталась только эта половина, то жизнь не могла бы существовать, она прекратилась бы быстрее всего. Должна быть другая половина совершенно той же ценности и необходимости, это то, что мы называем в деятельности организма задерживанием, торможением, а переходя к деятельности человека — дисциплиной, уздой. Без них жизнь невозможна, и это будет понятно по рассуждению и примерам.

Деятельность животного должна применяться к массе разнообразных условий. Понятно, что в этой деятельности неизбежен порядок, мера, своевременность, потому что сразу нельзя совместить несколько различных задач.

Необходимо предпочтение одной деятельности другой, определенная их размеренность. Только тогда может быть осуществлено правильное соотношение животного с окружающим миром. Возьмем простейший пример. Вот я сейчас ритмически двигаю свою руку. Это не есть только результат раздражения, но и результат задерживания, торможения. Я пускаю в ход две группы мышц, одну, которая сгибает кисть, и другую группу, которая разгибает кисть. Следовательно, когда я заставляю работать сгибатели, я должен затормозить разгибатели. Если я этого не сделаю, а пушу в ход сразу две группы мышц, то никакого ритмического движения не будет, а рука примет определенное положение, смотря по тому, какая из этих порций мышц сильнее,

какая возьмет перевес. Тот же механизм имеет место и при ходьбе, и здесь необходима попеременная смена раздражения и торможения, иначе ничего не выйдет. Так, например, если вы имеете животное, отравленное стрихнином, который дает перевес раздражению, то наступают судороги, и в конце концов животное принимает определенное положение. Ноги вытягиваются, потому что разгибатели ног сильнее сгибателей. А рядом с этим, если вы отравляете стрихнином лягушку, у которой сгибатели на передних лапах сильнее разгибателей, перевес берут сгибатели. И лягушка принимает характерную позу: с вытянутыми задними лапами и с прижатыми к груди передними лапами. (Такая картина наблюдается лишь у самцов лягушек, у самок сгибатели слабые и на передних лапах, и последние после отравления вытягиваются вдоль туловища.) Таким образом, ясно, что правильная деятельность складывается из соотношения двух процессов — раздражения и торможения.

Недавно мне приходилось наблюдать на собаке известный рефлекс, инстинкт, который пришлось формулировать как рефлекс свободы. Неожиданного здесь ничего нет, что животное, пользовавшееся свободой, как только оно пленено, начинает с этим бороться. Возьмите птицу, которую поймали, зверя, загнанного в клетку, и т. д. Все они стремятся возратить себе свободу, томятся в неволе. Понятно, что это — нарочитая, врожденная реакция, никто ей животное не учил. Такой случай представился нам с одной собакой, очень культурным и домашним животным. Но, очевидно, в ряде поколений все предки этой собаки пользовались абсолютной свободой и не знали привязи, оттого у нее этот инстинкт и был так силен. Когда мы эту собаку поставили на стол с ограничением свободных движений, она не могла с этим примириться. Мы проделывали с нею только одно, мы ее кормили, а надо сказать, что перед такими опытами мы не даем еды животным в течение 24 часов, но это не помогало. Собака все время воевала с такой обстановкой: царапала пол, грызла веревку и т. д. И это происходило день, неделю, месяц. Потребность освобождения от пут была до такой степени сильна, что собака голодная отказывалась от еды. Мы перепробовали все предположения, и в конце концов пришлось признать, что не было никакой другой причины этой постоянной войны с обстановкой, кроме одной, что собака не могла примириться с ограничением движений.

Что это не было [...] показывает тот факт, что стоило нам ее отвязать, как она приходила в хорошее настроение и спокойно

ложились у ваших ног. Ни для чего другого ей ее свобода движений была не нужна.

Я вам представлю теперь, как этот рефлекс свободы должен был быть побежден другим рефлексом в целях сохранения жизни. Мы задались вопросом, как победить этот рефлекс свободы, как развить на него торможение. Станным образом, еда, в виде подкармливания, нам ничего не давала. Тогда мы решили, что мы будем собаку на столе не только подкармливать, но станем и капитальную еду давать ей исключительно на столе. Что же произошло? Собака долгое время эту еду не брала, предпочитая голодать. Понятно, что это было неразумно, не в соответствии с требованием действительности. В самом деле, для чего ей нужна была эта свобода, для того лишь чтобы улечься на полу у ног экспериментатора? Стоило ли из-за этого отказываться от еды? Безусловно, это была утрированная потребность, и жизнь научила животное взять более верную линию. Когда мы начали животное кормить только в станке, тогда у него начало развиваться целесообразное задерживание на этот рефлекс свободы. Она начала станок не только переносить, и даже сама на него вскакивала. Вы видите, что когда животному стала угрожать потеря жизни от голода, оно быстро пришло в правильное соотношение с действительностью и задержало прежний рефлекс, развил на него торможение. Вот вам яркий пример уравнивания двух основных процессов, с одной стороны, проявление деятельности, стремление к свободе, с другой стороны, закономерное задерживание этой деятельности по требованию известных жизненных условий.

Я вам приведу другой поразительный пример того, какую огромную роль играет это задерживание. Я вам уже говорил, что мы занимаемся вырабатыванием у животных сложных рефлексов или, выражаясь вашим языком, выработкой ассоциаций. Мы пробовали образовать ассоциации на болевое раздражение, причем брали маленький электрический ток, который давал слабое болевое раздражение, и одновременно давали собаке есть. Таким образом, мы образовали ассоциацию слабой боли с едой, так что при раздражении током собака виляла хвостом, облизывалась, словом давала пищевую реакцию. Надо отметить, что вначале собака на это слабое болевое раздражение реагировала отрицательно — старалась сорвать приборчик, отворачивалась и т. д. И вот, когда мы достигли того, что слабая отрицательная болевая реакция сменилась положительной пищевой реакцией, мы начали осторожно повышать силу электрического тока. Делая это постепенно, мы дошли до страшного тока, и тем не ме-

нее реакция осталась та же. Никакой болевой реакции не было, все время была только положительная пищевая реакция. Мало этого. Когда мы достигли такого состояния, мы могли даже перейти к разрушению кожи. Мы могли кожу жечь, пробить, а реакция на это была все-таки только пищевая. Это поразительно! На разрушение кожи животное вместо естественной оборонительной реакции отвечает реакцией пищевой. Очевидно, на болевую реакцию развилось задерживание. Болевое раздражение направляется теперь в другое место, в центр аппетита, и является только поводом к возбуждению аппетита. Что такое объяснение не утрировано, доказывается вот чем. Мы были заинтересованы узнать, что же собака чувствовала при этом боль или нет? Влезть в нее мы, конечно, не могли. Нам ничего не оставалось, как только по внешним признакам убедиться в том, имеет ли она чувство боли или нет. Чувство боли, как известно, сопровождается известными внешними признаками. Некоторые из этих признаков мы можем усилием воли подавить. Но мы знаем, что есть и такие признаки, на которые воля не оказывает влияния, мы знаем, что боль легко отражается на пульсе, дыхании. Это самые чувствительные реактивы на боль. Мы испытали у нашей собаки пульс и дыхание и не нашли ни малейших изменений. Значит, надо сказать, что собака при этих условиях боли не чувствовала.

Когда эти опыты были показаны Шеррингтону, первому физиологу Англии, он сказал: «Теперь я понял, почему христианские мученики могли переносить мучения. Очевидно, известным сосредоточением мысли можно достигнуть того, что боль не будет существовать». Это его слова, и это правда. Если бы боль оставалась, то нельзя понять, нельзя представить, каким образом ее можно было бы вынести. Я помню операцию, произведенную мужчине-богатырю, у которого были жировики на голове. Надеясь на себя, он решил вынести операцию без хлороформа. И надо было смотреть, чего это ему стоило. Он еле выдержал эту пустую операцию, продолжавшуюся каких-либо 10—15 мин, весь дрожал как в лихорадке...

А христиане выдерживали страшные мучения, улыбаясь. Следовательно, необходимо допустить, что огромное нравственное возбуждение затормозило, уничтожило чувство боли.

Возвратимся к случаю с нашей собакой. Ясно, что здесь было вполне целесообразное соответствие с жизнью. Раз еда дается только по сигналу, вызывающему боль, то мы должны пожертвовать кусочками кожи для того, чтобы сохранить свою жизнь. Да мы знаем этот факт и из обыденных наблюдений. Когда соба-

ке бросается кость, она без раздумья вступает в бой со своими соперницами, причем здесь бывает и кровопускание, и клоки шерсти, и даже куски вырванного тела. Это обыкновенный случай. Но вот интересная подробность на тему о потребности меры. Эта ассоциация между сильным болевым раздражением и пищевой реакцией существует, но она ограничена. Вы получите такой пищевой рефлекс, только когда вы действуете на кожу и мышцы. Если же электрический ток достигает до кости, тогда картина меняется, и вы не можете заменить болевую реакцию пищевой. Смысл ясен. Когда для того, чтобы получить еду, дело идет о клоке шерсти, животное должно пожертвовать последним, но когда ломаются кости, когда грозит разрушение организму, тогда к чему и пища. Одним жертвовать можно, другим нельзя, ибо это сигнал к тому, что происходит уничтожение организма.

Я вам покажу теперь более подробным и интересным образом значение процесса торможения, как это выступает в наших опытах на животных. Предположим, вы образовали ассоциацию между определенным звуком и едой; всякий раз, когда вы пускаете этот звук, животное отвечает пищевой реакцией. Звук действует как пищевое раздражение. Если вы теперь, имея такую ассоциацию, пустите ваш звук, не давая животному еды, то этот звук сейчас же на ваших глазах теряет свое возбуждающее действие. На четвертый, пятый раз собака уже на ваш сигнал не обращает внимания. Смысл ясен. Раз сигнал неверен, обманывает, не соответствует действительности, раз за звуком не следует еда, то пищевая реакция была бы в этом случае непроизводительной тратой сил. Ее надо устранить, от нее надо отказываться. И вот это устранение пищевой реакции происходит при посредстве процесса задерживания.

Другой случай. Я вам уже сообщил, что когда образуется ассоциация на какой-нибудь один звук, то вначале так же действуют и другие звуки, даже больше, вначале точно так же действуют и шумы, и стуки. Но потом постепенно происходит специализация, так что остается действующим только один определенный звук. Можно дойти до такой тонкости, что не будет действовать уже звук, отличающийся от основного на $\frac{1}{8}$ тона. Конечно, это огромная выгода жизни, чтобы не отвлекаться на звуки, которые не имеют отношения к еде, и реагировать только на тот звук, который служит достоверным сигналом действительности. И это происходит при помощи процесса торможения. Действие других звуков, вначале существующее, потом заглушается, устраняется при посредстве торможения.

Еще случай. Вы имеете определенный звук, который действует узко специализированно, т. е. действует только этот звук, а соседние звуки никакой реакции не дают. Но представьте, что вы присоединяете на животное другое влияние, например почесывание кожи, и при таком сочетании еды не даете. Сначала различения нет, и животное дает пищевую реакцию на оба раздражителя вместе. Но если вы повторяете это несколько раз, не давая еды, то в конце концов происходит новое приспособление и животное при прибавке к звуку почесывания уже не реагирует. Это опять очевидное совершенство жизни, что я проявляю деятельность только там, где имеется для этого смысл, и в других случаях своих сил понапрасну не трачу. И это тоже осуществляется при помощи процесса торможения. Возьмем еще случай. Положим, я пускаю звук, ассоциированный с пищевой реакцией, и через 5—10 сек подкармливаю животное. Поэтому, как только я этот звук пускаю в ход, у собаки начинается пищевая реакция. Я теперь изменяю опыт следующим образом. Я держу звук не 5—10 сек, а 3 мин и лишь в конце третьей минуты даю еду. И знаете, что тогда происходит? Тогда мой звук не действует целых две минуты, и лишь в конце третьей минуты начинается пищевая реакция. Куда же делось первичное действие звука, который вызывал реакцию уже в первую половину минуты? Это действие задержано, заторможено, и вы опять видите новое совершенство жизни.

Вы видите, таким образом, что значит торможение. Все совершенство, вся тонкость жизни, все это осуществляется при посредстве торможения. И если вы отнимете эту половину нервного механизма, а оставите лишь одно раздражение, то настанет хаос, который уничтожит все совершенство жизни, все соответствие животного с окружающим миром. Таким образом, надо признать как основной закон жизни, подобно закону тяготения, что мыслительная деятельность состоит из двух половин, из двух проявлений, из свободы, раздражений и из торможений, дисциплины, узды. Я должен вам прибавить, что установление этого факта и есть важнейший пункт, достигнутый биологией теперешнего момента, и здесь, кроме того, есть обстоятельство, которым мы, русские, можем гордиться. Факты торможения впервые привлекли к себе внимание научного мира 50 лет назад благодаря русскому уму, благодаря патриарху русской физиологии проф[ессору] Ивану Михайловичу Сеченову. Это было в 63-м г. прошлого столетия и явилось первой важной русской физиологической работой. Работа эта называлась «Опыты о задерживающих центрах». Отдельные факты в этом направлении были найдены

и другими, но важно вот, что И. М. Сеченов, опираясь на эту работу, вместе с тем издал брошюру, встретившую в то время затруднения по цензурным условиям. Эта брошюра под названием «Рефлексы головного мозга» так и осталась только на русском языке и не была переведена. В ней И. М. Сеченов придал этой идее торможения то значение, которое я сейчас развил перед вами. Таким образом, это русская идея, и мы с этой стороны можем быть удовлетворены.

Я остановлюсь несколько на характеристике тормозной деятельности. Надо сказать, что как эта деятельность ни необходима, как она ни важна, тем не менее она хрупче, лабильнее, податливее, чем деятельность раздражения. При условиях, уничтожающих нервную деятельность, она поддается скорее. Если вы имеете ассоциацию между каким-либо внешним влиянием и пищевой реакцией и если эта ассоциация уже специализирована, то в том случае, когда на животное во время опыта падает экстренный раздражитель, прежде всего исчезает специализирование. Исчезает в первую голову как раз то, что основано на торможении. И только затем, если это экстренные, необычные влияния становятся сильнее, только тогда уничтожается и сама ассоциация, сама деятельность. Следовательно, прежде всего поддается процесс торможения, а потом и процесс возбуждения. Это одно. Дальше, очень важно в практическом отношении следующее. Установлено, что эта тормозная деятельность доступна практике усиления, ее можно развить благодаря упражнению, тренировке.

Теперь я должен представить доказательства, что все совершенство жизни, все тонкое соответствие с действительностью есть следствие тормозного процесса. Предположим, вы выработали ассоциацию на какой-нибудь звук. Сначала эта ассоциация, как я говорил, бывает разлитого характера, затем она становится специализированной, действует только один звук, остальные не действуют. Я вам упоминал, что на остальные звуки развивается торможение. Что это действительно так, доказывается вот чем. Если я достиг того, что моя ассоциация, мой рефлекс, специализировался, то стоит мне после того, как я эти остальные звуки испытал, попробовать мой действующий звук, и он, оказывается, не действует. В чем дело? Очевидно, я развил тормозной процесс, и этот процесс сразу из нервной системы не ушел. Он там остался, и моя постоянная ассоциация была им подавлена. Если такой опыт практиковать чаще, то такого воздействия тормозного процесса уже не наблюдается, но вначале он о себе дает знать очень отчетливо.

Таким образом, вы видите, что основной закон нервной системы тот, что она состоит из двух половин: из проявления деятельности раздражения, или свободы в широком смысле, и из проявления деятельности задерживания, торможения, или дисциплины, узды. Вне этого нет жизни. Жизнь уничтожается. В этом отношении можно представить массу примеров, что жизнь есть равновесие, что высшее совершенство жизни, культура животного связана с равновесием этих двух половин. Как только происходит перевес одной половины над другой, вы сейчас же получаете некультурный, не соответствующий действительности тип. И это можно сделать чисто искусственно, различными приемами. Стоит, например, дать перевес раздражению, и вся эта тонкость жизни разрушается. Вы выработали ассоциацию на тон. Стоит вам впрыснуть животному кофеин, который возбуждает нервную деятельность, усиливает процессы раздражения, и необходимое торможение исчезает. А вместе с ним исчезает и тонкая приспособленность к жизни, животное начинает смешивать звуки, теряет возможность тонко реагировать на действительность. Далее. Можно перенапрячь тормозную деятельность, и тогда получается хаотическое состояние. Животное делается большим, невзрачным, мало приспособленным.

Вы видите, что основа культуры — совершенство жизненного приспособления — зависит от правильного соотношения двух процессов — раздражения и торможения.

Понятно, раз так что нервная деятельность состоит из двух половин, то должны встречаться экземпляры животных двух различных типов, типа раздражительного и типа уравновешенного. Одна собака проявляет специализирование, дифференцировку ассоциации в один срок, другая — в другой. У некоторых это совершается до такой степени туго, что их сначала надо напрактиковать на более простых случаях, только тогда они образуют и тонкие дифференцировки. Понятно, что такое животное представляет менее совершенный тип, оно недостаточно культурно, реагирует на внешние явления без толку. И наоборот, солидный, уравновешенный тип, с хорошо развитым торможением, у которого все размерено, рассчитано, — этот тип является более совершенным и приспособленным.

Мне кажется, никто не станет оспаривать, что с такой же меркой... с таким аршином можно перейти и к людям.

Безусловно, это фундаментальный закон и для человека, только для него он еще более притязателен, более необходим, потому что и условия жизни человека более сложны. Так же, как и животные, так же различаются между собою в этом отношении

и люди, и нации. Мы знаем очень хорошо, что в человеческой жизни практикуется — и нарочно — сознательно масса тормозов. Тормоза эти известны. Я сначала дам их на том типе, на тех народах, где эти тормоза развиты наиболее резко, наиболее приближаются к идеалу, т. е. на английском и германском народах. Эти тормоза представлены, во-первых, религией, затем законом, властью, контролем, далее воспитанием, обычаями, привычками. Это все тормоза.

Возьмем английскую нацию. Это, безусловно, одна из передовых наций, раз она сумела распространить свое влияние и обсеменить культурой весь мир. Этой нации принадлежат вершины как в умственном отношении, в области научного духа, достаточно назвать Ньютона, Дарвина, так и величайшие образцы достижений в области литературы — Шекспир. И вместе с этим английская нация держится за религию больше, чем какая-либо другая. Когда я был в Англии, я был поражен падением религиозности в нашем либеральном обществе по сравнению с обществом английским. Мне пришлось быть на банкете своих товарищей медицинского факультета. И я был удивлен, когда тостмейкер первым делом провозгласил молитву. Собрались врачи и прежде всего начали с молитвы! В тот же раз я был приглашен на завтрак в семейном кругу к профессору Медицинского факультета. И здесь начали с молитвы. Предо мной прошел еще один случай. Как раз в 1912 г. я присутствовал при юбилее Королевского общества, рассадника научной культуры Англии. Это торжество началось службой в Вестминстерском аббатстве. И когда я, русский либерал, держался так, как обыкновенно держимся на молитвах мы, я попал в неловкое положение. Со мной рядом стоял Рамзай. Я с ним был знаком, и когда совершалась служба, я, по-русски, отвлекал его разговорами и не сразу заметил, что он настроен благоговейно. Надо сказать, что здесь одно стоит другого, потому что речь, которую начал аббат, представляла привет от имени церкви всему научному миру. Он говорил на тему «Бог есть истина» и сказал, что «церковь кланяется Вам как искателям и накопителям истины». Таково отношение к первому тормозу, к первой узде самых свобододолюбивых и умственных людей.

Возьмем закон. Английская нация, конечно, страшно ушедшая по условиям своего существования вперед, обеспечивающая ваше и телесное и нравственное благополучие и, однако, не отказывающаяся от строжайшего закона — смертной казни за убийство. Если ты умышленно и сознательно лишил жизни другого человека, то ты можешь удовлетворить, лишь потерявши и

свою жизнь, отдав то, что ты взял у другого. Таков закон. Не так давно сообщалось о докторе, который отравил свою жену, чтобы вступить в связь с другой. И ничто его не спасло. Он был приговорен к смертной казни. Вот образчик строгости закона. И это касается как крупнейших вещей, так и мелочей.

Относительно мелочей мы можем обратиться к другой нации — германской. Вы знаете, что в Германии вся жизнь переполнена штрафами. Вы не можете сделать шага, чтобы Вас не накрыл штраф. Я помню одну сцену в Лейпциге, где я жил с семьей. Центральная часть [ринг] окружена променадом. Однажды мы всей семьей двигались по этой променаде, няня везла в колясочке сына. Вдруг женщина, которая попалась нам навстречу, обратилась к нам в большом возбуждении: «Разве по этой дорожке можно идти? По этой дорожке — стоит сорок копеек штрафа». Не угодно ли? Огромный сад, пустая дорожка. Мы никому не мешаем, и вдруг штраф. Больше того. Там стоят особые скамейки с надписью: «Kinderbank» (детская скамейка. — *Публ.*), и ни на какую другую вы с ребенком сесть не можете, иначе снова штраф. Видите, какова узда. И это не для вида только. Вас стережет шутман, и если вы промахнетесь, с вас штраф взыщут самым прекрасным образом. Возьмите дальше университетские отношения. Кэмбридж и Оксфорд — это университеты, из которых выходит цвет английской интеллигенции. Что же вы думаете? До сих пор вечерами по городу ходят попеременно два профессора, выбираемые для этого советом профессоров для наблюдения за приличным поведением студентов на улице, причем их сопровождают два служителя на случай ловли, если кто-либо побежит. И это не возмущает студентов и не шокирует профессоров! Видите, какие поражающие факты внимания к этой узде, дисциплине. И там это проходит через всю жизнь. Вы знаете, до какой степени там крепки обычаи, привычки. Все это имеет огромное жизненное значение. На этом вы поддерживаете практику нервной деятельности, упражняете торможение. Вот почему имеет значение и формализм, уже по одному тому, что это есть практика тормоза.

Вы видели, господа, что самые передовые нации, англичане и германцы, в принципе придают такое же значение торможению, узде, как и проявлению деятельности, свободы. Понятно, что идеал состоит в равновесии одного и другого, когда рядом с торможением обеспечиваются и законные пределы свободы. В этом отношении интересные примеры дает практика английских государственных людей и учителей. В то время как я, будучи в Англии, занимался празднествами, моя жена интересовалась

гимназиями. Когда жена в разговоре с одним директором гимназии рассказала ему о наших порядках, о наших родительских комитетах, о правах их, он с гордостью заявил, что он в своей гимназии самодержец, автократ. Понятно, автократ в английском духе, автократ ограниченный, не смеющий посягать на права других.

Затем речь перешла на отношения к ученикам. Этот директор сообщил очень неожиданный для нас факт, что даже в низших классах, до десятилетнего возраста, воспитание обстоит так, что у известного воспитанника, поставленного первым в классе, есть права и до того большие, что он за известные проступки может налагать от себя на товарищей наказания, иногда даже серьезные. Большие права, и все это в распоряжении мальчугана. При этом, когда он творит суд и расправу, может присутствовать и директор, автократ, и может что-нибудь говорить, ходатайствовать и т. д. Но наступает момент, когда маленький судья [вынес вердикт], и директор должен замолчать, а все делается так, как решил мальчуган. Видите, какое равновесие!

У англичан наблюдается поразительное сочетание жизненности с торжеством пустых приличий и обычаев. Нам всем, членам [Королевского общества?] пришлось представляться королю в [Букунгемском] замке. Так как погода была мокрая, то не знали, представляться ли во дворце или в парке, но потом прояснилось, и решено было, что в парке. С одной стороны, приличие требовало, чтобы каждый из нас имел цилиндр. Но рядом с этим и признание права за пустяками: так как было мокро, то все явились с подвернутыми брюками. Попробуйте-ка применить это к русскому этикету!

Вы видите, господа, что у передовых наций осуществлено от мелкого и до большого сочетание дисциплины и свободы. Перейдем теперь к нам. Здесь будет очень непохоже на то, что я вам передал относительно англичан. Вы знаете, что наши интеллигентные классы очень нерелигиозны и даже поспешили свои идеи просочить и в народную массу. Мне было бы странно, если бы я в интеллигентном доме начал обед с молитвы. Это бы шокировало.

Возьмите университет. Разве можно это у нас? Разве возможен у нас такой контроль над студентами? Какое возмущение произошло бы у нас с обеих сторон? Возмутились бы профессора, считая, что им навязывают полицейские функции. Возмутились бы и студенты: «Как, мы самостоятельные люди, с аттестатами зрелости, и вдруг смотрят, как мы ведем себя на улице?»

Возьмите вопрос с детьми. Вопрос, конечно, очень важный. Как у нас ведется воспитание? Разве это не постоянная вещь, что стоит ребенку заплакать, и его каприз сейчас же исполняют. Мы боимся поступить так, как этого требует разум, боимся настоять на своем только потому, что ребенок плачет. И так поступают и сегодня, и завтра. А в результате мы лишаем своих детей всякой практики торможения. Пусть его поплачет раз, другой, в конце же концов привыкнет, подчинится! Но мы рассуждаем по-иному: «Как это я буду насилловать своего ребенка, как это я стану его притеснять?» Но что же вы делаете? Вы, правда, не делаете из своего ребенка раба внешнего, он у вас свободен, но вы делаете из него раба внутреннего, раба своих влечений, желаний. Он не будет иметь над собой никакой власти, потому что у него нет способности себя тормозить, эту способность вы у него не развивали. И мы этого не понимаем. Желая руководить счастьем ребенка, мы сами же делаем его несчастным. Мы создаем лодку без руля, без кормчего. И мы этого не сознаем.

Возьмите школу. Разве это не есть крупный, важный вопрос, быть дисциплине в школе или нет. И разве у нас нет школ без дисциплины? Это, конечно, не школы, а развращение! Мы воспитываем детей, которые не будут в состоянии жить, потому что у них нет власти над собой, потому что они рабы своих привычек и капризов.

А наши законы? Разве они не отличаются мягкостью? Мы все боимся, как бы не оказаться слишком строгими. И затем, разве наши законы исполняются? Разве не обходят их на каждом шагу? Разве наши штрафы когда-нибудь берутся? Нет. У нас все только на бумаге. И вместо практики торможения мы поступаем как раз наоборот, мы эту практику постоянно уничтожаем. И так насквозь. Русский человек еще не дожил до той истины, что жизнь состоит из двух половин, из свободы и дисциплины, раздражения и торможения. А отказываться от одной половины, значит, обрекать себя на жизненный позор.

До какой степени это есть закон жизни, мы можем видеть на нашем революционном времени. Оно великолепная и ужасная иллюстрация. Что такое революция вообще? Это есть освобождение от всех тормозов, о которых я говорил. Это есть полная безудержность, безуздность. Были законы, обычаи и т. д. Все это теперь идет насмарку. Старого не существует, нового еще нет. Торможение упразднено, остается одно возбуждение. И отсюда всякие эксцессы и в области желаний, и в области мысли, и в области поведения.

Возьмем примеры. Гимназист, который только в революционное время хочет участвовать в педагогическом совете! Студент, который хочет решать дела в совете профессоров! Такие советы профессоров, такие конференции уже есть! И есть случаи, когда профессорам приходится контрабандой собираться на предварительные частные совещания. Это все примеры из действительной жизни. Еще случай. Положим, я шеф лаборатории, старый, опытный, многократно подвергавшийся разным испытаниям: на доктора медицины, на приват-доцента, экстраординарного, ординарного профессора, академика. Я человек испытанный. У меня лаборатория, в которой я в силу своей испытанности, опытности являюсь дирижером, руководителем. И что же требует революция? Она требует, чтобы управление лабораторией определялось советом лаборатории, т. е. шефом и его ассистентами, пусть это еще молодые ассистенты, которых я взял лишь в надежде, что из них выйдут ученые. Соединив свои голоса, они всегда могут иметь большинство и вершить все дела в лаборатории. И вот стоит вам попасться к господам, с которыми у вас будут разногласия, и вы вынуждены будете вести не ту работу, которую хотите вы, а ту, которую хочет вести человек, только еще приступающий к научной работе. Разве это не есть революционное безумие?

Возьмите случай покрупнее. Вот мечта современного человечества, по крайней мере так писалось в начале войны и в Англии, и во Франции, и у нас: «Германия эгоистически желает управлять всем миром, а мы мечтаем о мировом союзе народов, который имеет целью соединить в одну общую семью все нации». Это, конечно, представляется грандиозной, великой мечтой. Так оно и есть. «Вечный мир» для пацифистов — это их религия. Такова цель, к которой стремится идеальная масса человечества, — связать все народы в одну семью. Казалось бы, тем более это стремление к объединению должно быть там, где уже есть и долгое привыкание друг к другу, и знакомство. Что же мы видим у нас? Столетия существовали вместе народности России, привыкая к общему государственному языку, связанные общими интересами, привычками жизни и т. д. Мы располагаем $\frac{1}{6}$ всей земной поверхности, располагая всеми климатами, следовательно, мы фактически очень приближались к идеальной мечте о сплоченности, объединении всех народов. Конечно, самодержавие у нас угнетало отдельные народы, но самодержавие угнетало всех, и великороссов, и малороссов и т. д. После революции можно было надеяться, что желания всех будут удовлетворены,

будут даны и школы, и законы и т. д. Союз между ними был уже готовый. Но что же случилось?

Как только произошла революция, все мы рассыпались, от-вернулись друг от друга, и каждый хочет самоопределиться. Какой же в этом толк?

Когда мы вместе, мы обладаем силами, а в отдельности с нами расправится всякий, кто сильнее. Так оно уже и есть. Какой же смысл в этом отделении? Все человечество стремится к слиянию, а мы стремимся к тому, чтобы жить врозь. Ясно, что наши стремления не отвечают потребностям человечества, а являются лишь результатом того, что с нас снята узда. Это есть проявление вольности, свободы без всякого участия другой половины жизни — дисциплины, торможения. Ведь примеры у всех пред глазами. Вот Германия, она обладает сейчас большой силой, а почему? Потому что она слилась из отдельных клочков в одно государственное целое. А мы распадается, глухие ко всем урокам истории. Разве этого требует жизнь? Нет, это просто результат отсутствия торможения. Выгоды жизни здесь не учитываются.

Возьмем более частный случай, возьмем отделение Малороссии от Великороссии. Я жил порядочно, доживаю до предельного человеческого возраста — 70 лет. 10 лет я был студентом, имел товарищей со всего простора России. Затем я был профессором, когда через мои руки прошли тысячи молодых людей. И я скажу без малейшего преувеличения, я никогда, ни на один момент не почувствовал, что есть великороссы как отдельная нация и малороссы. Мы всегда вместе и плакали, и радовались. Что бы я ни делал, что бы я ни думал, я никогда не принимал в расчет, кто я — великоросс или малоросс.

И вдруг откуда-то получается неудержимое стремление к распаду! Чем это оправдывается, зачем это надо? И это мы проделываем тогда, когда нам угрожает германизм. Разве не общеизвестный факт, что германизм поедает славянство кусок за куском? Разве Лейпциг не был когда-то Липецком? Разве мы не знаем, что «Drang nach Osten» проникает всю Германию снизу доверху. Разве мы не знаем, что Турция [наступает на Кавказ]. И мы в это время, когда с Запада на Восток двигаются наши исторические враги, мы сочли за благо распасться, чтобы быть в несколько раз слабее. Наше правительство находится [нрзб.]. А в это время Германия принимает ряд мер очищения от заразы, потому что военнопленные германцы прежде, чем попасть к себе на Родину, проходят длиннейшие карантинны. Как это понять? Это можно понять только как величайшую близорукость мысли. Позвольте мне кончить настоящую лекцию примирительной

нотой. Я, как говорится, на старости лет в первый раз составил стихотворение — в прозе, *в прозе, господа!* Я его вам сейчас прочту, потому что оно соединяет в себе, *резюмирует* все, что я говорил.

«Где ты, свобода, вечная пленительница человеческих существ от звероподобной натуры до величайшего образца человеческого духа? Где ты, настоящая, подлинная? Когда придешь и останешься с нами навсегда? Увы!.. Мы обречены ждать тебя в конце длинной и непрерывной твоей борьбы с твоей безотступной соперницей — уздой; борьбы в семье, школе, обществе, государстве, в целом человечестве и в нашей собственной душе; борьбы уже многотысячелетней; борьбы изначала и доселе, временами и местами — свирепой, кровопролитной, трудной борьбы, только там или здесь смягчающейся и облагораживающейся; борьбы, в которой побеждала то ты, то *она* — твоя соперница, так чередуясь много, много раз.

Ты придешь, замиренная и прекрасная, придешь, и останешься неразлучной с нами, только в самом конце этой *так* томительно длинной для нас борьбы, придешь тогда, когда ты и твоя соперница подадите друг другу руку мира, дружески обниметесь и наконец родственно, как две половины, сольетесь в единое целое. И этот момент будет началом высшей человеческой культуры и высшего человеческого счастья».

Но... Господа! Меня гложет мучительное сомнение. Это слияние и это счастье возможны для русского человека и славянина *вообще* или невозможны?

